

5 марта 30 лет назад умерла Ахматова

Два небольших секрета

I
В самом начале 1966 года я пришел в Боткинскую больницу, чтобы навестить Ахматову. (Это было одно из последних наших свиданий.) И там, в больнице, между нами состоялся такой разговор. Я сказал:

— Вот прекрасная тема для статьи — «Эпиграфы Ахматовой». Подарите это кому-нибудь из ахматоведов.

Она мне ответила:

— Никому не говори. Напиши сам. Я тебе кое-что для этого подброшу.

Она мне так ничего и не «подбросила», ей оставалось жить всего месяца два. А мне эта тема была, да и остается не по плечу — литературоведение такого уровня, как здесь потребен, меня никогда не привлекало. И все же я хочу написать несколько строк об одном из эпиграфов «Поэмы без героя».

Поэму я знал с детства, она переписывалась и передавалась практически на моих глазах. Мне сразу же запомнился и очень понравился эпиграф из совершенно не известного мне в те годы поэта Николая Клюева:

...жасминный куст,

Где Данте шел, и воздух пуст.

Когда же много лет спустя после смерти Ахматовой я первый раз прочел клюевское стихотворение «Клеветникам искусства», то с удивлением обнаружил, что она цитирует его неточно. В подлиннике это звучит так:

Ахматова — жасминный куст,

Обожженный асфальтом серым,

Тропу утратила ль к пещерам,

Где Данте шел и воздух густ.

Итак, Ахматова не просто берет эти строчки, она перестраивает их, кардинально меняет. Клюев в своих стихах отсылает ее в преисподнюю, в смрадные круги Ада, где, конечно же, «воздух густ». Ахматовой в данном случае inferнальность ни к чему, она все это выбра-

сывает — асфальт, пещеры, густоту. В результате остается аромат жасмина и некий вакуум, оставшийся после прохождения Данте и заполняемый ею самой.

II

Хочу поделиться и еще одним своим наблюдением. На этот раз речь пойдет о той из «Северных элегий», которая называется «Первой» и носит подзаголовок «Предыстория». Стихи эти были мне известны с отроческих лет, но — увя! — догадка пришла мне в голову относительно недавно, и мне не пришлось проверить ее у самой Ахматовой.

Если не считать совершенно отдельно стоящего заключительного четверостишия, стихотворение можно разделить на три части. Первая — краткое описание Санкт-Петербурга восьмидесятых (или семидесятых) годов прошлого века — до строчки «И пышные гроба: Шумилов старший».

Далее — вторая часть, описание того же города уже в XX веке. Затем изображена (так же в современности) Старая Русса, городок, где у Достоевского был дом, где он много работал и даже вывел это местечко под именем Скотто-пригоньевска в «Братьях Карамазовых». Заключается вторая часть упоминанием Оптиной Пустыни, при жизни Ахматовой совершенно разоренного и оскверненного монастыря, куда когда-то совершали паломничества и сам Достоевский, и Гоголь, и многие другие деятели русской культуры.

Со строки «Шуршанье юбок, клетчатые пледы» начинается третья часть, где повествование опять возвращается в век минувший. (Здесь, между прочим, содержится изумительный портрет матери Ахматовой — Инны Эраз-



мовны.) И это возвращение в XIX век завершается полуночной картиной — Ф. М. Достоевский сидит за письменным столом и создает один из своих фантастических шедевров.

Элегию, повторяю, я знал очень давно, и она была, пожалуй, одним из любимых моих стихотворений. Как-то, перечитывая его в очередной раз, я обратил особенное внимание на самое начало, на слова:

Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта
колокольней.

Торгуют кабаки, летят
пролетки...

Отчего тут такая локальная, абсолютно зафиксированная точка зрения? Ведь стоит отклониться или сделать шаг в сторону, как луна или откроется целиком, или вообще скроется за той же колокольней... И тут меня осенило. Это стихотворение начинается с того же самого, чем кончается. Достоевский сидит ночью за своим письменным столом, а луна светит ему в окно. Итак, повествование после экскурсии в современность возвращается не только в то отдаленное время, но и в то же самое место — кабинет великого писателя.

Для большей убедительности я могу кое-что к этому добавить. Я неоднократно слышал от разных людей, что Достоевский предпочитал сидеть только в таких комнатах, откуда можно было бы видеть церковь. (К сожалению, письменного свидетельства об этом я так и не обнаружил.) Полагаю, это могла слышать и Анна Андреевна.

Уже в семидесятых годах я специально пошел в музей Достоевского, открытый в его по-

следней квартире в Кузнечном переулке, чтобы воочию убедиться, видна ли колокольня из окна его кабинета. (Там неподалеку до сих пор стоит здание Владимирской церкви.) Увы! — видеть колокольню из окон той квартиры невозможно. И тем не менее я от своей догадки не отказываюсь.

Я полагаю, сама Ахматова в бывшем кабинете Достоевского никогда не была. (Я не могу себе представить, чтобы Анна Андреевна явилась в чужую квартиру и вторгалась бы в

жилые комнаты.) Но я отчетливо помню, что самое это место ее весьма интересовало. Ахматова высказывала возмущение по тому поводу, что в ее время никакого такого музея не существовало, а была обыкновенная ленинградская коммуналка. Я запомнил такую ее фразу:

— Японцы, которые обожествляют Федора Михайловича, приходят туда и стоят на коленях на грязной лестнице.

Протоиерей Михаил АРДОВ

Анна АХМАТОВА

Предыстория

«Я теперь живу не там...»
Пушкин

Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней.
Торгуют кабаки, летят пролетки,
Пятиэтажные растут громады
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: «Henriette», «Basile», «Andre»
И пышные гроба: «Шумилов-старший».
Но впрочем, город мало изменился.
Не я одна, но и другие тоже
Заметили, что он подчас умеет
Казаться литографией старинной,
Но первоклассной, но вполне пристойной,
Семидесятых, кажется, годов.
Особенно зимой, перед рассветом
Иль в сумерки — тогда за воротами
Темнеет жесткий и прямой Литейный,
Еще не опозоренный модерном,
И визави меня живут — Некрасов
и Салтыков... Обоим по доске
Мемориальной. О, как было б страшно
Им видеть эти доски! Прохожу.
А в Старой Руссе пышные канавы,
И в садах подгнившие беседки,
И стекла окон так черны, как прорубь,
И мнитесь, там такое приключилось,
Что лучше не заглядывать, уйдем.
Не с каждым местом сговориться можно,
Чтобы оно свою открыло тайну

(А в Оптиной мне больше не бывать...).
Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркала,
Каренинской красюю изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве,
Под желтой геросиновой лампой,
И тот же плюш на креслах...
Все разночинно, наспех, как-нибудь...
Отцы и деды непонятны. Земли
Заложены. И в Бадене — рулетка.

И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядывая в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила, —
Ненужный дар моей жесткой жизни...

Страну знобит, а омский каторжанин
Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесется. Полночь бьет.
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем.

Так вот когда мы вздумали родиться
И, безошибочно отменив время,
Чтоб ничего не пропустил из зрелищ
Невиданных, простились с небьёмем.

3 сентября 1940 Ленинград
Октябрь 1943 Ташкент